

Лекция 5. Вопрос об антисемитизме. Война и суверенитет по Гоббсу

4 февраля 1976 г. Вопрос об антисемитизме. — Война и суверенитет по Гоббсу. — Дискурс о завоевании у роялистов, парламентариев и левеллеров в Англии. — Бинарная схема и политический историцизм. — Что хотел исключить Гоббс

За одну или две недели я получил некоторое число вопросов и возражений, устных и письменных. Я хотел бы поспорить с вами, но здесь в этой обстановке это трудно. Однако вы в любом случае можете застать меня в моем кабинете, если хотите задать мне вопросы. Но среди полученных мною вопросов есть один, на который я хотел бы тотчас немного ответить, прежде всего потому, что он встречается несколько раз. Затем потому, что я, как мне казалось, уже заранее ответил на него, а теперь выясняется, что объяснения не были достаточно ясными. Мне говорят: «Можно ли датировать появление расизма XVI или XVII веками и связывать расизм только с проблемами суверенитета и государства, тогда как хорошо известно в конечном счете, что религиозный расизм (в частности, антисемитский расизм) существовал начиная со средних веков?». Я хотел бы в таком случае вернуться к тому, что не объяснил достаточно убедительно и ясно.

Я не ставил своей целью изложить здесь историю расизма в общем и традиционном смысле термина. Я не хотел представить ни историю того, чем могло быть на Западе осознание принадлежности к расе, ни историю обрядов и механизмов, с помощью которых пытались на

Западе устранить, опозорить, физически разрушить расу. Проблема, которую я хотел раскрыть, другая и не касается расизма и прежде всего проблемы рас. Речь идет — как всегда у меня — о том, чтобы понять, как появился на Западе определенный (критический, исторический и политический) анализ государства, его институтов и механизмов власти. Этот анализ осуществлялся в пределах бинарности: общество с этой точки зрения не представляет собой пирамиду уровней и иерархии, не составляет также целостного и унитарного организма, а делится на две не только совершенно различные, но и совершенно противоположные части. Существующее между двумя частями общества противостояние, воздействующее на государство, фактически является войной, непрерывной войной между ними, в которой государство оказывается не чем иным, как способом ведения этой войны в формах по видимости мирных. Исходя из этого, я надеялся показать, как указанный анализ явно выделяет и одновременно соединяет надежду на восстание или революцию, требование их и соответствующую политику. Вот основа моей проблемы, а не расизм. Мне казалось исторически довольно оправданным, что такая форма политического анализа властных отношений (как отношений войны между двумя расами внутри общества) не пересекается, по крайней мере с первого взгляда, с религиозной проблемой. Этот анализ фактически формируется, начинает формироваться в конце XVI и в начале XVII века. Иначе говоря, деление на расы, восприятие войны рас предшествует понятиям социальной или классовой борьбы, но эта война совсем не тождественна расизму, скажем, религиозного типа. Я не говорил об антисемитизме, это верно. Я отчасти хотел это сделать в последний раз, когда давал беглый обзор темы борьбы рас, но мне не хватило времени. На этот счет, я думаю, можно сказать — но я к этому позже вернусь — следующее: в действительности антисемитизм как религиозная и расовая позиции не влиял достаточно прямо на социальные отношения, чтобы можно было его принимать в расчет в той истории до XIX века, о которой я вам рассказываю. Старый антисемитизм религиозного типа был использован в государственном расизме только в XIX веке, начиная с этого времени перед государством встал вопрос о том, чтобы выразить себя, начать функционировать и представлять себя хранителем целостности и чистоты расы в противовес расе или расам, которые проникают в страну, порождают внутри нее вредоносные элементы, которые нужно изгнать по причинам одновременно политического и биологического характера. Именно в этот момент развивается антисемитизм, воспринимающий, использующий, заимствующий из старого антисемитизма его энергию и мифологию, которые до того не использовались в политическом анализе внутренней войны, социальной войны. В этот момент появились — и были описаны — евреи как раса, присутствующая в других расах, биологически опасный характер которой требует от государства некоторых механизмов недопущения и устранения. Стало быть, повторное использование в государственном расизме антисемитизма, имевшего, я думаю, другие основания, вызвало к жизни в XIX веке такие феномены, которые привели к наложению старых механизмов антисемитизма на критический и политический анализы борьбы рас внутри общества. Вот почему я не поставил ни проблему религиозного расизма, ни проблему антисемитизма в средневековье. Зато я попытаюсь рассказать об этом, когда приступлю к XIX веку. Еще раз повторяю, что я готов ответить на более определенные вопросы. Сегодня я хотел бы рассмотреть, как война начала использоваться для анализа властных отношений в конце XVI и в начале XVII века. Есть имя, которое вспоминается сразу же: это Гоббс, который на первый взгляд кажется тем, кто увидел в военных отношениях основу и принцип отношений власти. При рождении большого механизма, составляющего государство, суверена, Левиафана, в основании его

порядка, позади его мира, ниже уровня закона для Гоббса существует не просто война, а самая большая из всех войн, она присутствует в каждом мгновении общественной жизни и во всех ее измерениях: «война всех со всеми».1 Войну всех со всеми Гоббс не просто приурочивает к рождению государства — к утру реального или воображаемого Левиафана, — он прослеживает ее, отмечает ее угрозу и рождение даже после установления государства, внутри него, на его границах и в зарубежье. Припомните приводимые им три примера непрекращающейся войны. Первый из них свидетельствует, что даже в цивилизованных государствах тот, кто покидает свой дом, никогда не забывает тщательно запереть дверь на замок, так как он хорошо знает, что идет постоянная война между ворами и теми, у кого они воруют.2 Другой пример: в лесах Америки существуют еще племена, которые действительно живут в ситуации войны всех против всех.3 А чем в любом случае являются взаимоотношения наших европейских государств, как не взаимоотношениями двух людей, стоящих друг против друга с вытянутыми шпагами и устремленными друг на друга глазами?4 Таким образом, во всех случаях уже после установления государства война угрожает, война присутствует. Отсюда вытекают проблемы; во-первых, что такое эта война, которая предшествует государству и которую государство в принципе должно уничтожить, которую оно отталкивает в свою предысторию, в первобытность, к ее таинственным границам, и которая, однако, существует? Во-вторых, как эта война порождает государство? Какое влияние оказывает на государство тот факт, что его порождает война? Каково клеймо войны на теле государства, раз уж оно создано ею? Вот два вопроса, которые я хотел бы немного прояснить.

Какую же войну фиксирует Гоббс, если учесть, что она, с его точки зрения, существовала до возникновения государства и послужила основой его установления? Является ли она войной сильных против слабых, свирепых против робких, храбрых против трусов, рослых против низких, воинственных дикарей против миролюбивых пастухов? Коренится ли она непосредственно в природных различиях идей? Вы знаете, что Гоббс пишет не об этом. Первоначальная война, война всех против всех, это война равных, она рождена равенством и развивается на его основе. Война это прямое следствие не-различия или, во всяком случае, незначительных различий. Фактически Гоббс говорит, что если бы существовали большие различия, если бы действительно между людьми была явно проступающая и очевидно необратимая разница, то, конечно, война оказалась бы в силу этого невозможна. Если бы были заметные, зримые, крупные различия, то одно из двух: или на деле происходило бы столкновение между сильным и слабым, но такое столкновение и такая реальная война тотчас закончились бы победой сильного над слабым, что было бы предопределено силой сильного; или просто не было бы реального столкновения, ибо слабый, знающий, чувствующий, констатирующий свою слабость, заранее уклонился бы от столкновения. Так что, говорит Гоббс, если бы имелись значительные природные различия, не было бы войны; ибо или соотношение сил сразу же было бы зафиксировано в начале войны, что исключало бы ее продолжение, или, напротив, соотношение сил оставалось бы скрытым в силу робости слабых. Значит, если есть различия, нет войны. Различие умиротворяет.5 Зато что происходит в состоянии отсутствия различия или незначительного различия, то есть в состоянии, когда можно сказать, что имеются различия, но они слабо выражены, они неясные, крошечные, неустойчивые, беспорядочные и не определяют превосходства; что тогда происходит в анархической ситуации небольших различий, которая характерна для естественного состояния? Тогда даже тот, кто немного слабее, чем

другие или другой, оказывается достаточно близок к более сильному, чтобы почувствовать себя достаточно сильным и не уступать. Таким образом, слабый всегда отступает. Что касается сильного, который просто немного сильнее, чем другие, он никогда не чувствует себя достаточно сильным, чтобы не беспокоиться и, следовательно, не быть настороже. Таким образом, именно отсутствие природных различий создает неустойчивость, риск, случайности и волю к столкновению с той и другой стороны; именно проблематичность в первоначальном соотношении сил создает состояние войны. Но что в точности представляет собой это состояние? Даже слабый знает, или, во всяком случае, думает, что он недалек от того, чтобы быть таким же сильным, как его сосед. Итак, он не отрекается от войны. Но более сильный — словом тот, кто ненамного сильнее, чем другие, — знает, что вопреки всему он может оказаться слабее них, особенно если они используют хитрость, неожиданность, союз и т. д. Стало быть, один не отказывается от войны, а другой — более сильный — ищет вопреки всему возможности ее избежать. Однако он сможет ее избежать только при одном условии: если покажет, что готов к войне и не собирается от нее отказаться. Но как он докажет последнее? Действуя так, чтобы другой, готовый к войне, начал испытывать сомнения относительно своей собственной силы и вследствие этого был бы в силах от нее отказаться, и этот другой откажется от нее постольку, поскольку знает, что первый не готов от нее отказаться. Короче, от чего зависит то соотношение сил, которое устанавливается при наличии небольших различий и проблематичных столкновений, исход которых неизвестен? Оно зависит от взаимодействия между тремя видами элементов. Во-первых, от знания соотношения сил: я представляю себе силу другого, я представляю себе, что другой представляет мою силу и т. д. Во-вторых, от выразительности и доказательности проявлений воли: некто демонстрирует, что хочет войны или не отказывается от нее. В-третьих, наконец, от использования тактики перекрестного запугивания: я боюсь войны в той мере, в какой буду спокоен, только если ты боишься войны, по крайней мере так же, как и я, и даже по возможности больше. В целом это означает, что описанное Гоббсом состояние совсем не является естественным и звероподобным, в котором силы сталкиваются сразу: мы не находимся в ситуации прямых взаимоотношений реальных сил. В состоянии первоначальной войны у Гоббса встречаются, сталкиваются, скрещиваются не оружие, не кулаки, не дикие и разнузданные силы. Нет сражений в первоначальной войне Гоббса, нет крови, нет трупов. Там есть представления, демонстрации, знаки, выразительные, хитрые, лживые знаки; есть обман, рядящиеся в свою противоположность проявления воли, закамуфлированное в уверенность беспокойство. Мы находимся в театре сменяющих друг друга представлений, в ситуации страха, которому не видно конца, а не в обстановке реальной войны. В конечном счете это означает, что состояние животной дикости, где живые индивиды пожирали бы друг друга, ни в коем случае не может представляться первой характеристикой состояния войны по Гоббсу. Последнее характеризует именно бесконечная дипломатия соперничества, рожденного природным равенством. Здесь нет «войны»; а есть то, что Гоббс точно определяет как «состояние войны». В одном отрывке он говорит: «Война есть не только сражение, или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения».6 Таким образом, этот временной промежуток включает в себе не сражение, а состояние, когда задействованы не сами по себе силы, а воля, которая достаточно подтверждена, то есть наделена системой представлений и демонстраций, разворачивающейся в области первичной дипломатии.

Итак, абсолютно ясно, почему и как это состояние — каковое не является сражением, прямым столкновением сил, а неким состоянием игры направленных друг против друга представлений — не может считаться самостоятельной стадией в истории человечества, из которой люди вышли бы в тот день, когда родилось государство; речь идет, фактически о своего рода постоянной основе, общественной жизни, предполагающей множество обдуманых хитростей, запутанных подсчетов с тех пор, как нет безопасности, не фиксируется различие и сила не признается явственно за одной из сторон. Таким образом, у Гоббса война не приурочена к началу государственности.

Но как это состояние, которое не является войной, а только игрой представлений, что не является войной на самом деле, может породить государство с большой буквы, Левиафана, верховную власть? На этот второй вопрос Гоббс отвечает, введя различие двух категорий суверенитета: суверенитета установленного и суверенитета приобретенного.⁷ О суверенитете установленном говорят много, к этому вообще сводят, притягивают анализ Гоббса. На самом деле все обстоит сложнее. По Гоббсу, есть государство установленное и государство приобретенное, а внутри последнего две формы суверенитета, так что в целом есть государства установленные, государства приобретенные и три типа, три формы суверенитета, которые образуют в целом эти формы власти. Возьмем, во-первых, установленное государство, то, которое наиболее известно; я скажу о нем коротко. Что происходит в состоянии войны и кладет конец состоянию, в котором, повторю еще раз, задействована не война, а представление о ней и угроза войны? Вопрос решают люди. Но как? Не так, чтобы они решали перенести на кого-то одного — или на нескольких — часть своих прав и власти. Они не решают, по сути, даже вопроса о передаче всех своих прав. Напротив, они решают предоставить кому-то, кем могут выступать несколько человек или целое собрание, право представлять их целиком и полностью. Речь не идет о передаче или делегировании чего-то, принадлежащего индивидам, а о представлении самих индивидов. То есть конституированный таким образом суверен будет представлять индивидов в целом. Попросту, он не будет иметь части их прав; он по-настоящему займет их место, приобретая всю целостность их власти. Как говорит Гоббс, установленная таким образом власть суверена «представляет собой лицо всех».⁸ При условии подобного перемещения представленные таким образом индивиды будут существовать в их представителе; и что представитель, то есть суверен, сделает, каждый из них в силу этого вынужден будет сделать. Суверен в качестве представителя индивидов точно сообразован с самими индивидами. Итак, он представляет собой сфабрикованную индивидуальность, но она реальна. Когда суверен по рождению является монархом, индивидуальностью, это не мешает ему быть сфабрикованным в качестве суверена; и когда речь идет о совокупности — хотя бы о группе индивидов, — речь все же идет об индивидуальности. Вот, значит, что можно сказать об установленных государствах. Мы видим, что в этом механизме задействованы только воля, договор и представление.

Посмотрим теперь на другую форму создания государств, которая может привести к тому или иному типу государства: на форму его приобретения.⁹ По видимости, это нечто другое, даже противоположное установлению. Кажется, что в случае приобретенных государств мы имеем дело с суверенной волей, основанной одновременно на реальном, историческом и прямом соотношении сил. Чтобы понять этот механизм, нужно исходить не из первоначального состояния войны, а из настоящего сражения. Предположим государство,

уже конституированное в соответствии с моделью, о которой я только что рассказал, моделью установления. Предположим теперь, что это государство было атаковано другим в войне с реальными сражениями, где решения принимаются с помощью оружия. Предположим, что одно из двух организованных таким образом государств побеждено другим: его армия повержена, рассеяна, его суверенность разрушена; враг оккупирует территорию. Здесь есть, наконец, то, что обычно ищут сначала, то есть настоящая война, настоящее сражение, настоящие силовые отношения. Есть победители и побежденные, и побежденные находятся во власти победителей, в их распоряжении. Теперь посмотрим на то, что может произойти: побежденные находятся в распоряжении победителей, то есть последние могут убить побежденных. Если они их убивают, проблемы, очевидно, больше нет: суверенность государства совсем исчезла, потому что индивиды этого государства исчезли. Но что будет происходить в том случае, если победители оставят жизнь побежденным? Возможно одно из двух: или побежденные восстанут против победителей, то есть фактически снова начнут войну, попытаются изменить соотношение сил, в таком случае начинается реальная война, которую поражение, во всяком случае временно, приостановило; или они рискуют действительно умереть, или не начинают войны и принимают необходимость повиновения, работы на других, отдают земли победителям и платят дань; здесь, очевидно, наблюдается ситуация господства, основанная целиком на войне и распространении ее результатов на мирную ситуацию. Вы скажете, что это господство, а не суверенитет. Но нет, говорит Гоббс; мы находимся все еще в ситуации суверенитета. Почему? Потому что с тех пор, как побежденные предпочли жизнь и повиновение, они тем самым восстановили суверенитет, они сделали из победителей своих представителей, они вновь утвердили суверена вместо того, которого уничтожила война. Таким образом, не поражение ведет к появлению общества с господством, рабством, кабалой, с жестоким устройством и отсутствием права, а то, что происходило уже в условиях поражения, после сражений, даже после поражения и некоторым образом независимо от него: главное тут страх, вернее, желание отказаться от страха, от риска потерять жизнь. Именно это заставляет принять такой тип суверенитета и такое юридическое устройство, которые соответствуют абсолютной власти. Воля к предпочтению жизни перед смертью: именно это создает суверенную власть, которая так же легитимна и исторически обоснована, как и та, что основывалась путем установления и достижения взаимного согласия.

Довольно странным образом Гоббс добавляет к этим двум формам суверенной власти, установленной и приобретенной, третью, относительно которой он говорит, что она очень близка к приобретенному суверенитету, появляющемуся на закате войны и после поражения. Он говорит, что этот другой тип суверенитета связывает ребенка с его родителями, точнее с матерью.¹⁰ Предположим, говорит он, родился ребенок. Его родители (отец в условиях цивилизованного общества, мать в естественном состоянии) вполне могут позволить ему умереть или даже просто-напросто убить его тем или иным способом. Он, во всяком случае, не может жить без своих родителей, без своей матери.

И естественно, что в течение периода, когда он может выражать свою волю только демонстрацией своих потребностей, криками, страхом и т. д., ребенок должен подчиняться родителям, матери, делать именно то, что она ему велит, потому что от нее и только от нее зависит его жизнь. Итак, говорит Гоббс, между этим согласием ребенка (согласием, которое

обходится даже без выражения воли или без договора) на власть матери и согласием побежденных после поражения нет существенного различия. Гоббс хочет подчеркнуть, что решающим для установления верховной власти является не воля, даже не форма ее выражения, не уровень воли. По сути, неважно, что к вашему горлу приставлен нож, неважно, можно или нельзя открыто выразить свою волю. Необходимым и достаточным условием возникновения суверенной власти является на деле некая радикальная воля к жизни, даже когда этого нельзя достичь без воли другого.

Таким образом, суверенитет конституируется на основе радикальной воли, форма которой маловажна. Эта воля связана со страхом, так что верховная власть никогда не формируется наверху, то есть в результате решения более сильного, победителя или родителей. Суверенная власть всегда формируется снизу, волей тех, кто боится. Так что, несмотря на различие, которое может существовать между двумя крупными государственными формами (установленной, порожденной взаимным согласием, и приобретенной, порожденной сражениями), обнаруживается глубокое сходство в устройстве. Идет ли речь о согласии, сражении, об отношении родители/дети, в любом случае наблюдается одна и та же совокупность — воля, страх и суверенитет. И неважно, запущена ли эта совокупность в действие скрытым расчетом, соотношением сил или природным фактором; неважно, будь то страх, который вызывает бесконечную дипломатию, будь то страх из-за ножа у горла или крик ребенка. В любом случае верховная власть оказывается создана. По сути, всё рассуждение Гоббса строится так, как если бы он совсем не был теоретиком связи между войной и политической властью, а хотел положить конец рассмотрению войны в качестве исторической реальности и исключить вопрос о генезисе суверенитета. В «Левиафане» отражен весь спектр дискурса, говорящего следующее: неважно, сражаетесь вы или нет, неважно, победили вы или нет; в конечном счете один и тот же механизм действует и в отношении побежденных, и в отношении тех, кто находится в первобытном состоянии или в конституированном государстве, его же можно обнаружить в самых нежных и естественных отношениях, существующих между родителями и детьми. Гоббс изображает войну, военный фактор, соотношение сил, которое раскрывается в сражении, безразличными к утверждению суверенитета. Его конституирование обходится без военного фактора. Оно осуществляется одним и тем же способом, есть война или нет. В основном дискурс Гоббса это определенное «нет» войне: не она на деле порождает государства, не она служит основой суверенитета и не она продлевает в гражданской власти — в связанном с нею неравенстве — предшествующую ей асимметрию в соотношении сил, которая была продемонстрирована в сражениях.

Отсюда возникает проблема: кому адресован этот негативизм в отношении военного фактора и какой смысл он имеет, раз ясно, что никогда в формулировавшихся прежде юридических теориях власти война не играла той роли, которую упрямо отрицает за ней Гоббс? К какому противнику на деле адресуется Гоббс, когда на протяжении всего своего дискурса он настойчиво повторяет: во всех случаях не имеет значения, была война или нет; не о войне идет речь при конституировании суверенитета. Я думаю, что дискурс Гоббса направлен, если хотите, не против ясной и определенной теории, не против кого-то, кого можно было бы рассматривать как его противника, его полемического партнера; он не направлен также против чего-то невысказанного, неустранимого из дискурса Гоббса, что тот вопреки всему пытался обойти. В сущности, в эпоху Гоббса существовало кое-что, что

могло бы быть названо не его полемическим противником, а его стратегическим визави. То есть это не столько определенный дискурс, который нужно было отвергнуть, сколько некая теоретическая и политическая стратегия, которую Гоббс как раз и хотел исключить и сделать невозможной. Итак, то, что Гоббс хотел не опровергнуть, а исключить и сделать невозможным, его стратегическое визави, представляло собой определенный способ обращения с политическим знанием в политической борьбе. Точнее, я думаю, что стратегическим визави Левиафана был способ политического использования в современной борьбе определенного исторического знания, касающегося войн, нашествий, грабежей, экспроприации, конфискации, вымогательства, поборов и последствий всего этого, последствий всех этих военных действий, всех сражений и реальной борьбы, которые разворачиваются при наличии законов и институтов, по-видимому, регулирующих власть. Одним словом, Гоббс хотел исключить завоевание, или, точнее, использование в историческом дискурсе и в политической практике проблемы завоевания. Невидимым противником Левиафана было завоевание. Этот огромный искусственно образованный человек, который так заставлял дрожать всех благонамеренных мыслителей права и философии, государственный людоед, чей громадный силуэт вырисовывался на виньетке, изображавшей короля с поднятой шпагой и жезлом в руке, в целом мыслил правильно. Вот почему в конечном счете даже проклинавшие его философы в основном его полюбят, вот почему его цинизм очаровывал даже самых боязливых. Имея с начала и до конца вид дискурса, провозглашающего войну повсюду, дискурс Гоббса в действительности свидетельствовал об обратном. Он говорил, что одно и то же — находиться в состоянии войны или обходиться без войны, испытать поражение или не испытать его, победить или прийти к соглашению: «Вы этого хотели, вы, подданные, которые установили представляющую вас верховную власть. Не надоедайте нам поэтому больше с вашими историческими пересмотрами: в конце завоевания (если вы действительно считаете, что было завоевание) вы всегда найдете также Договор, волю запуганных подданных». Таким образом, проблема завоевания оказывается устранена, сначала в результате введения понятия войны всех против всех, а затем вследствие указания на юридически значимую волю запуганных на закате сражения подданных. Я думаю, что Гоббс мог, конечно, казаться скандальным. На деле он успокаивает: он всегда придерживается дискурса договора и суверенитета, то есть дискурса государства. Несомненно, его упрекали и его будут громко упрекать в том, что он преувеличивает роль государства. Но в конечном счете для философии и права, для философско-юридического дискурса лучше преувеличить роль государства, чем недооценить ее. И, порицая его за преувеличения, за ним признают ту заслугу, что он действовал против определенного, коварного и жестокого врага.

Враг — или вернее враждебный дискурс, против которого выступает Гоббс, — мог быть обнаружен в расшатывающих государство гражданских битвах, которые происходили в тот момент в Англии. Этот дискурс имел два голоса. Один говорил: «Мы победители, а вы побежденные. Может быть, мы иностранцы, а вы челядь». На что другой голос отвечал: «Мы, может быть, завоеванные, но мы не останемся такими всегда. Мы у себя, а вы отсюда уйдете». Именно против дискурса борьбы и постоянной гражданской войны выступал Гоббс, обнаруживая договор в конце войны и всякого завоевания и спасая тем самым теорию государства. Этим, наверное, объясняется тот факт, что философия права позже дала Гоббсу в виде компенсации почетное звание отца политической философии. Когда государственный Капитолий оказывался под угрозой, один гусь будил дремлющих

философов. Это Гоббс. Гоббс выстроил стену «Левиафана» против того дискурса (или, скорее, практики), который, как мне кажется, появился, если не совсем в первый раз, то, по крайней мере, в своих основных чертах и во всей своей политической резкости, в Англии и, наверное, в результате соединения двух феноменов: прежде всего безусловно раннего развития политической борьбы буржуазии против абсолютной монархии, с одной стороны, и против аристократии — с другой; и затем другого феномена, а именно, острого ощущения исторического факта старого расслоения в результате завоевания, которое веками оставалось очень сильным даже в широких народных слоях.

Влияние нормандской победы, одержанной герцогом Вильгельмом в 1066 г. при Гастингсе, запечатлелось разными способами в институтах и историческом опыте политических субъектов в Англии. Оно проявлялось очень ясно прежде всего в ритуалах власти, так как вплоть до Генриха VII, то есть до начала XVI века, в королевских актах упорно подчеркивалось, что король Англии обладает суверенностью в силу права завоевания. Король представлял себя законным преемником завоевания нормандцев. Такое обоснование королевской власти исчезло при Генрихе VII. Факт завоевания проявлялся также в правовой практике, так как во всех судебных постановлениях использовался французский язык, на котором отправлялись и все судебные процедуры, и что вызывало постоянные конфликты между низшими судебными органами и королевскими трибуналами. Исходящее сверху и использующее чужой язык право было в Англии знаком иностранного присутствия, знаком другой нации. Правовая практика в такой ситуации вела, с одной стороны, если можно так сказать, к «лингвистическому страданию» тех, кто не мог юридически защититься на своем собственном языке, а с другой — она опиралась на определенно чуждую им форму закона. По этим двум причинам правовая практика была саксам недоступна. Отсюда требование, которое встречается очень рано в период английского средневековья: «Мы хотим нашего права, хотим, чтобы оно формулировалось на нашем языке и было унифицировано снизу, исходя из того общего закона, который противостоит королевским законам». Завоевание — я выбираю примеры довольно случайно — проявлялось также в наличии, взаимоналожении и столкновении двух различных типов легенд: с одной стороны, совокупности саксонских повествований, которые были в основном народными преданиями, мифическими верованиями (о возвращении короля Гарольда), культурами священных королей (например, короля Эдуарда), народными рассказами, одним из популярных героев которых был Лесной Робин (и вы знаете, что именно в этой мифологии Вальтер Скотт — один из великих вдохновителей Маркса¹¹ — почерпнет тему «Айвенго» и некоторых романов,¹² которые сыграли важную роль в историческом сознании XIX века). Народной мифологии противостояли аристократические и едва ли не монархические легенды, которые появились при дворе нормандских королей и вновь возродились в XVI веке, в эпоху развития королевского абсолютизма Тюдоров. Речь идет, по существу, о легенде из артуровского цикла.¹³ Конечно, это не нормандская легенда, но и не саксонская. Это возрождение обнаруженных нормандцами старых кельтских легенд, которые были спрятаны под мифами саксонского слоя населения. Кельтские легенды были совершенно естественно переработаны нормандцами в интересах аристократии и нормандской монархии в силу многочисленных связей, которые существовали между нормандцами на их родине и Бретанью и бретонцами: итак, были две очень мифологизированные ветви представлений, в соответствии с которыми и совсем по-разному Англия размышляла о своем прошлом и о своей истории.

Но гораздо больше, чем все сказанное, о завоевании в Англии свидетельствовала историческая память о восстаниях, каждое из которых имело важные политические последствия. Некоторые из этих восстаний приобретали к тому же довольно заметный расовый характер, как первые из них, например восстания Монмута.¹⁴ Другие (как то, в конце которого была согласована Великая хартия [вольностей]) добивались ограничения королевской власти и строгих мер по выселению иностранцев (не столько нормандцев, сколько, смотря по обстоятельствам, пуатевинов, ангевинов и т. д.). Вопрос стоял о праве английского народа, которое оказалось связано с необходимостью изгнания иностранцев. Поэтому налицо были все элементы, позволявшие облечь крупные социальные противостояния в исторические формы завоевания и господства одной расы над другой. Такое кодирование или, во всяком случае, позволявшие его осуществить элементы были старыми. Уже в средневековье можно встретить в хрониках такие фразы: «От нормандцев ведут свой род высшие сословия этой страны, простолюдины — это сыновья саксов».¹⁵ В результате политические, экономические, юридические конфликты с помощью тех элементов, которые я только что перечислил, были очень легко выстроены, закодированы и преобразованы в дискурс, в ряд дискурсов, ориентированных на расовое противостояние. И довольно логично, что в конце XVI и в начале XVII века, когда появились новые политические формы борьбы между буржуазией, с одной стороны, и аристократией и монархией — с другой, использовался именно словарь расовой борьбы. Употребление такого рода кодировки или по меньшей мере готовых для кодировки элементов происходило очень естественно. И если я говорю о кодировке, то потому, что расовая теория не служила особым выражением позиции одной группы в ее борьбе с другой. Фактически мысли о расовом делении и о противоположности рас были своего рода одновременно дискурсивными и политическими инструментами, позволявшими и тем и другим формулировать свои собственные требования. Юридическо-политическая дискуссия о правах верховной власти и правах народа развивалась в Англии XVII века при использовании определенного словарного запаса, порожденного завоеванием, господством одной расы над другой и восстанием — или постоянной угрозой восстания — побежденных против победителей. И поэтому мы можем обнаружить теорию рас или тему рас как в позиции защитников королевского абсолютизма, так и в позициях парламентариев или сторонников парламентаризма, а также в самых крайних позициях левеллеров^[13] или диггеров. Преобладание четко сформулированных идей о завоевании и господстве можно обнаружить в том, что я бы назвал «королевским дискурсом». Когда Яков I объявил в звездной палате, что короли восседают на божественном троне,¹⁶ он, конечно, соотносился с теолого-политической теорией божественного права. Но для него божественный выбор, благодаря которому он реально оказался собственником Англии, был историческим знаком победы нормандцев, ее порукой. И будучи еще только королем Шотландии, Яков I говорил, что поскольку нормандцы завладели Англией, то законы королевства установлены ими,¹⁷ а это имело два следствия. Во-первых, то, что Англия стала владением и потому все английские земли принадлежали нормандцам и их главе, то есть королю. Именно в качестве главы нормандцев король реально оказывался владельцем, собственником английских земель. Во-вторых, то, что право не может быть общим для различных народов, на которые распространяется верховная власть; право — это сам знак нормандского верховенства, оно установлено нормандцами и, естественно, для них. И с ловкостью, которая должна была в немалой мере затруднить противников, либо король, либо, по крайней мере, сторонники королевского дискурса проводили очень странную, но очень важную аналогию. Я думаю,

именно Блеквуд сформулировал в первый раз в 1581 г. в тексте, который назывался «*Apologia pro regibus*», нечто очень любопытное. Он говорит: «Наделе нужно воспринимать положение Англии в эпоху нашествия нормандцев, как теперь воспринимают положение Америки в отношении сил, которые еще не называли колониальными. Нормандцы были в Англии теми, кем сейчас европейцы являются в Америке». Блеквуд проводил параллель между Вильгельмом Завоевателем и Карлом V. Он говорил насчет Карла V: «Он силой подчинил часть западной Индии, оставив побежденным их владения, но не в качестве собственности, а в качестве объекта пользования при условии выплат. А то, что Карл V сделал в Америке и что мы считаем совершенно законным, потому что делаем то же самое, делали, как можно безошибочно сказать, нормандцы в Англии. Нормандцы пришли в Англию по тому же праву, что и мы в Америку, то есть по праву колонизации».¹⁸

Итак, мы имеем в конце XVI века если не первый, то, я думаю, один из первых случаев возвращения колониальной практики в юридическо-политическую структуру Запада. Не нужно никогда забывать, что колонизация с ее приемами и политическим и юридическим оружием, конечно, была переносом европейских моделей на другие континенты, но она имела обратное влияние на механизмы власти на Западе, на аппараты, институты и технику власти. Существовала целая серия колониальных моделей, которые были заново перенесены на Запад и привели к тому, что Запад смог практиковать в отношении самого себя нечто вроде колонизации, внутренней колонизации.

Вот так тема борьбы рас использовалась в королевском дискурсе. Та же самая тема нормандского завоевания повлияла на характер ответа парламентариев на королевский дискурс. Способ, каким парламентарии отвергали претензии королевской власти на абсолютизм, определялся также идеей дуализма рас и фактом завоевания. Парадоксальным образом анализ парламентариев и сторонников парламентаризма начинался с отрицания завоевания или, скорее, завоевательного характера власти Вильгельма в адресованном ему похвальном слове. Вот как они проводили свой анализ. Они говорили: не нужно ошибаться — ив этом видно, как они близки Гоббсу, — Гастингс, сражение, сама война не важны. По сути, Вильгельм был законным королем. И он был законным королем просто потому, что (и здесь видна эксгумация некоторых исторических фактов, истинных или фальшивых) Гарольд — еще до смерти Эдуарда Исповедника, на самом деле назвавшего Вильгельма своим преемником, — дал клятву, что не станет королем Англии, а передаст трон или согласится, что Вильгельм взойдет на трон Англии. Во всяком случае, этого не произошло: Гарольд был убит в битве при Гастингсе, больше не было законного наследника — если допустить легитимность Гарольда, — и вследствие этого естественно, корона должна была, вернуться к Вильгельму. Так что Вильгельм оказывался не победителем Англии, а наследником прав на английское королевство в том виде, как оно существовало. Он оказывался наследником королевства, существование которого было скреплено некоторым числом законов, и наследником верховной власти, которая была ограничена законами саксонского режима. В этом анализе то, что узаконивало монархию Вильгельма, в равной же мере и ограничивало его власть. Впрочем, добавляют сторонники парламентаризма, если бы речь шла о завоевании, если бы действительно битва при Гастингсе повлекла за собой господство нормандцев над саксами, победа не могла бы быть удержана. «Как было бы возможно, — говорят они, — чтобы несколько десятков тысяч несчастных нормандцев, затерявшихся в землях Англии, смогли удержаться и реально обеспечить постоянную

власть? Их в любом случае убили бы в постелях накануне той же битвы». Однако, по крайней мере в первое время, не было крупных возмущений, это доказывает, что побежденные по большому счету не считали себя побежденными и оккупированными и действительно признавали в нормандцах людей, которые могли отправлять власть. Таким образом, на основании этого признания, этого неубийства нормандцев и этого не-возмущения они узаконивали монархию Вильгельма. А Вильгельм к тому же дал клятву, был коронован архиепископом Йорка; ему преподнесли корону, и он обязался в ходе этой церемонии уважать законы, о которых авторы хроник говорят, что это были хорошие законы, древние, принятые и одобренные. Он таким образом оказался включен в предшествовавшую ему систему саксонской монархии. В представляющем эту линию рассуждений тексте под названием «Argumentum Anti-Normannicum»¹⁹ видна своего рода виньетка, которую можно сопоставить с виньеткой к «Левиафану», она выглядит так: на перевязи — битва, две вооруженные армии (предполагаются, очевидно, нормандцы и саксы при Гастингсе), а посреди двух армий тело короля Гарольда; таким образом, законная монархия саксов действительно исчезла. Ниже сцена большего формата изображает Вильгельма в ходе коронации. Коронация представлена следующим образом: статуя, названная Британией, протягивает Вильгельму бумагу, на которой можно прочитать — «Законы Англии».²⁰ Король Вильгельм получает свою корону от архиепископа Йорка, в то время как другое духовное лицо протягивает ему бумагу, на которой написано: «Клятва короля».²¹ На основании этого можно заключить, что на самом деле Вильгельм не был победителем, каким хотел казаться, а был законным наследником, верховная власть которого ограничивалась законами Англии, признанием Церкви и данной им клятвой. Уинстон Черчилль, живший в XVII веке, писал в 1675 г.: «По сути, Вильгельм не завоевал Англии, это Англия завоевала Вильгельма».²² И только после этого — совершенно законного — переноса саксонской власти на короля нормандцев, считают сторонники парламентаризма, начинается настоящее завоевание, то есть все события, связанные с экспроприацией, вымогательствами, злоупотреблением властью. Завоевание было долгим извращением, которое сопровождалось утверждением нормандцев у власти и привело к организации в Англии того, что тогда же справедливо было названо «нормандизмом» или «нормандским ярмом»,²³ то есть систематически асимметричным и систематически благоприятным для аристократии и нормандской монархии политическим режимом. И именно против этого «нормандизма» — а не против Вильгельма — были направлены все восстания в средние века; именно против этих злоупотреблений, связанных с нормандской монархией, утверждались права парламента, настоящего наследника саксонской монархии; именно против этого «нормандизма», последовавшего за Гастингсом и приходом к власти Вильгельма, боролись низшие суды, когда хотели восстановить «общий закон»^[14] в противовес королевским законам. Также против него начала развиваться борьба в XVII веке. Однако что собой представляло это старое саксонское право, которое фактически и на законном основании было принято Вильгельмом, которое нормандцы хотели задуть и извратить в годы, последовавшие за завоеванием, и которое саксы, начиная с Великой хартии [вольностей], с основания парламента и революций XVII века, пытались восстановить? Это некий саксонский закон. Здесь важную роль сыграло влияние одного юриста по имени Коук, претендовавшего на открытие и действительно открывшего рукопись XIII века, относительно которой считал, что в ней были сформулированы старые саксонские законы,²⁴ тогда как на самом деле под названием «Зеркала справедливости»²⁵ скрывалось изложение некоторого числа существовавших в средневековье форм судебной

практики и положений в ней частного и государственного права. Коук представил его как изложение саксонского права. Саксонское право считалось первоначальным и исторически подлинным законом — отсюда и значение рукописи — саксов, которые избирали своих вождей, имели своих судей[15] и только на время войны признавали королевскую власть как власть военного вождя, а вовсе не как лица, обладающего абсолютным и бесконтрольным суверенитетом в отношении общества. Таким образом, речь шла об историческом явлении, которому пытались — с помощью исследований древнего права — придать исторически точную форму. Но в то же время саксонское право преподносилось и характеризовалось как само воплощение человеческого разума в естественном состоянии. Юристы вроде Селдена,²⁶ например, свидетельствовали о том, что это было замечательное право, соответствующее принципам человеческого разума, так как оно существовало в гражданском обществе, похожем на афинское, а в военном отношении — устроенном наподобие Спарты. Что касается религиозных и моральных законов, то в саксонском государстве законы были близки к законам Моисея. Афины, Спарта, Моисей; саксонское государство преподносилось как совершенное. «Саксы, — говорится в анализируемом здесь тексте 1647 г. — почти как евреи, отличны от всякого другого народа: их законы были достойны уважения, а их система управления представляла как бы королевство Бога, ярмо которого было приятно, а тяжесть легка.»²⁷ Здесь можно наблюдать, как историцизм, противостоящий абсолютизму Стюартов, превратился в основополагающую утопию, где сразу соединились теория естественных прав, переоцененная историческая модель и мечта о своего рода королевстве Бога. И эта утопия о саксонском праве, которое, как предполагалось, было признано нормандской монархией, должна была стать юридическим основанием задуманной парламентариями новой республики. Тот же самый факт завоевания обыгрывался, и это третий вариант его обработки, в радикальном мышлении тех, кто был настроен не только против монархии, но и против сторонников парламентаризма, то есть в более мелкобуржуазном или, если хотите, более народном дискурсе левеллеров, диггеров и т. п. Но на этот раз историцизм в итоге не превращается в утопию естественного права, о которой я только что говорил. В основном у левеллеров можно обнаружить, в буквальном смысле слова, ту же идею королевского абсолютизма. Левеллеры говорят следующее: «На деле монархия права, когда утверждает, что существовало нашествие, поражение и завоевание. Это верно, завоевание было, и именно из этого нужно исходить. Но абсолютная монархия использует факт завоевания, чтобы найти в нем законную основу своих прав. На наш взгляд, напротив, так как мы видим, что завоевание есть, что существовало действительно нанесенное нормандцами саксам поражение, то это поражение и это завоевание нужно рассматривать не как исходную точку права — и права абсолютного, — а как исходную точку бесправия, которое обесценило все законы и все социальные различия, служащие для обозначения аристократии, форм собственности и т. п.». Все функционирующие в Англии законы — это текст Джона Уорра «Коррупция и несовершенство английских законов» — должны рассматриваться «как tricks, ловушки, выражения злобы».²⁸ Законы — это ловушки: нет никаких ограничений власти, а только инструменты власти; законы — не средства установления справедливости, а средства обслуживания интересов. Вследствие этого, во-первых, целью революции должно быть уничтожение всех постнормандских законов, поскольку прямо или косвенно они обеспечивают Norman yoke, нормандское ярмо. «Законы, — говорил Лилберн, — сделаны для завоевателей».²⁹ Следовательно, необходимо уничтожение всего аппарата законности. Во-вторых, необходимо также уничтожение всех различий, которые противопоставляют

аристократию — и не только аристократию, а аристократию вместе с королем как одним из аристократов — остальному народу, ибо знать и король не защищают народ, а просто и постоянно его грабят. Не существует королевской защиты народа, король покровительствует знати и охраняет ее право на вымогательство. «Вильгельм и его наследники, — говорил Лилберн, — из своих компаньонов по мошенничеству, расхищению и воровству сделали герцогов, баронов и лордов».³⁰ Следовательно, в настоящее время режим собственности — это военный режим оккупации, конфискации и грабежа. Все связанные с собственностью отношения — как и вся система законности — должны быть пересмотрены, переделаны до основания. Отношения собственности целиком обесценены фактом завоевания. В-третьих, считают диггеры, доказательство того, что правление, законы, отношения собственности являются в основе только продолжением войны, нашествия и поражения, заключается в том, что народ всегда воспринимал существующие формы управления, законы и отношения собственности как последствия завоевания. Народ в некотором роде всегда разоблачал грабительский характер собственности, бесчинства законов и господство правящей власти. И он это доказал просто тем, что не переставал восставать, а восстание есть для диггеров не что иное, как другое лицо войны, постоянной формой которой являются закон, власть и управление. Закон, власть и управление — это война, война одних против других. Таким образом, восстание не является разрывом с мирной системой законов, осуществленным в силу какой-то причины. Восстание — это другая сторона войны, которую не переставая ведет правительство. Правление — это война одних против других, восстание — это война последних против первых. Конечно, восстания до сих пор не были успешны не только потому, что нормандцы победили, но также потому, что богатые получали выгоду от нормандской системы и оказали в результате своей измены помощь «нормандизму». Была измена богатых, была измена церкви. И даже те институты, на которые парламентарии указывают, как на ограничение нормандского права, — даже Великая хартия [вольностей], парламент, деятельность судов — все это в основном также все еще нормандская система и ее бесчинства; они осуществляются просто при помощи избранной и наиболее богатой части населения, которые изменили делу саксов и перешли на сторону нормандцев. Фактически все то, что казалось уступкой, было только изменой и военной хитростью. Следовательно, совсем не утверждая вместе с парламентариями, что нужно продолжать поддерживать законы, чтобы королевский абсолютизм не превалировал над ними, левеллеры и диггеры готовы сказать, что нужно освободиться от законов с помощью войны, которая будет ответом на другую войну. Нужно вести гражданскую войну против нормандцев до конца. Именно исходя из этого, дискурс левеллеров мог бы развиваться во многих направлениях, которые остались большей частью мало разработанными. Одно направление было собственно теологическо-расовым, то есть немного схожим с требованием сторонников парламентаризма: «Возврат к нашим саксонским законам, которые справедливы, потому что являются также законами природы». Затем можно наблюдать другую форму дискурса, несколько незаконченного и содержащего такие положения: нормандский режим ведет к грабежу и вымогательствам, он имеет военную санкцию; что находится под этим режимом? Исторически там находятся саксонские законы. Тогда нельзя ли проделать тот же анализ в отношении саксонских законов? Не имели ли также саксонские законы военной санкции, не были ли они формой грабежа и вымогательства? Не был ли в конечном счете саксонский режим, как и нормандский, режимом господства? Не нужно ли, следовательно, пойти еще дальше и сказать — это встречается в некоторых текстах диггеров³¹ — что в основном господство связано с любой

формой власти, то есть нет таких исторических форм власти, какими бы они не были, которые нельзя анализировать в терминах господства одних над другими? Конечно, эта формулировка остается как бы незавершенной. Ее можно рассматривать как самый радикальный тезис; она никогда не служила основанием исторического анализа или связной политической практики. Тем не менее можно видеть, как здесь в первый раз формулируется идея, что всякий закон, каким бы он не был, любой тип власти должны анализироваться не в терминах естественного права и установления суверенитета, а как бесконечная смена — бесконечная с точки зрения истории — одних отношений господства другими.

Если я так много внимания уделил английскому дискурсу, связанному с войной рас, это произошло потому, что, с моей точки зрения, в нем в первый раз в политической и исторической формах, в виде одновременно политической программы действия и метода исторического исследования, можно обнаружить бинарную схему, определенную бинарную схему. Схема противоположности между богатыми и бедными уже существовала и влияла на восприятие общества и в средние века, и в греческих городах. Но в первый раз бинарная схема стала не просто способом оформления жалобы, требования, констатации опасности. В Англии она в первый раз смогла соединиться прежде всего с фактами, касающимися национальности: язык, родина, обычаи предков, весь объем общего прошлого, существование архаичного права, новое открытие старых законов. В то же время бинарная схема позволила расшифровать во всей ее исторической протяженности эволюцию общественных институтов. Она позволила также проанализировать современные институты в терминах столкновения и войны, ведущейся между расами по-ученому, лицемерно, но остро. Наконец, бинарная схема связывала восстание не просто с тем фактом, что положение наиболее обездоленных стало нетерпимым, что они должны были восстать, потому что не могли заставить себя услышать (таков был, если хотите, дискурс восстаний в средние века). Теперь же восстание представляется своего рода абсолютным правом: право на восстание существует не потому, что нет иной возможности заставить себя услышать, и не потому, что нужно разрушить порядок в целях установления более справедливого правосудия. Восстание теперь оправдывается как своеобразная историческая необходимость: оно является ответом на определенный социальный порядок, порядок войны, которому оно положит конец.

Следовательно, логическая и историческая необходимость восстания включается в исторический анализ, который раскрывает войну как постоянную черту общественных отношений, как саму ткань и тайну институтов и систем власти. И я думаю, что это и был великий противник Гоббса. Это то, чему он противопоставил «Левиафана», это противник всего философско-юридического дискурса, служившего цели обоснования суверенной власти. Это то, против чего он направил весь свой анализ рождения суверенитета. И если так сильно хотели устранить войну, то только потому, что хотели целенаправленно и пунктуально устранить эту ужасную проблему английского завоевания, болезненную историческую и трудную юридическую категорию. Нужно было избежать проблемы завоевания, вокруг которой в конечном счете выстраивались все дискурсы и все политические программы первой половины XVII века. Именно это нужно было исключить; нужно было исключить в целом и надолго то, что я бы назвал «политическим историцизмом», то есть род дискурса, заметного в дискуссиях, о которых я вам рассказал, созданного в некоторые наиболее острые периоды истории и состоящего в следующем: с тех пор как возникли властные отношения мы не находимся в ситуации права и

суверенитета; мы находимся в условиях господства, в исторически неопределенной по содержанию и многообразной ситуации господства. Мы не можем выйти из нее, а значит, не можем выйти из истории. Философско-юридический язык Гоббса был способом блокировки политического историцизма, который представлял собой действительно активный дискурс и знание в политической борьбе XVII века. Это была именно блокировка, точно такая, какую в XIX веке осуществил также диалектический материализм в отношении дискурса политического историцизма. Последнему противостояли: в XVII веке — философско-юридический дискурс, который пытался его дисквалифицировать; в XIX веке — диалектический материализм. Задача Гоббса состояла в том, чтобы перевести в боевое положение все, даже самые экстремальные возможности философско-юридического дискурса, чтобы заставить замолчать дискурс политического историцизма. А я хотел бы показать историю именно дискурса политического историцизма и одновременно произнести в его честь похвальное слово.

Версия #1

Зверобой создал 27 января 2026 04:41:51

Зверобой обновил 27 января 2026 04:43:09